

От переводчика

Первым романом, на перевод которого я получил заказ в начале 1990-х, стало «Завещание Оскара Уайльда» английского писателя Питера Акройда — текст, стилизованный под дневник, который Уайльд якобы вел в конце жизни. Это был первый роман Акройда, вышедший по-русски, а для меня — первая попытка вхождения в малознакомую культурную среду, в викторианский *Fin-de-siècle* («конец века»). Роман был переведен и опубликован, дальше пошли другие переводческие работы — и вдруг случился заказ на письма Уайльда, а еще через несколько лет — на его подробную биографию, написанную Ричардом Элманом. Уже тогда у меня возникло ощущение, что его единственный роман «Портрет Дориана Грея» нуждается в новом переводе, который будет, во-первых, сделан с учетом того, что мы знаем об атмосфере эпохи, о ее эстетических и философских течениях, и, во-вторых, более верен стилю, смелой образности, ритму и звучанию прозы Уайльда — прозы изящной, но и динамичной, пульсирующей, острой, контрастной, умной, афористичной, лишенной той вялой, церемонной велеличивости, что у нас частенько отличает переводы романов XIX века. Порок и добродетель, красота и безобразие, тело и душа, искусство и жизнь, страсть и безразличие, жалость и жестокость, юность и зрелость, постоянство и изменчивость, шутка и потрясение в этой прозе дерзко, рискованно

сближены. Одна из задач переводчика — сохранять присущую роману пульсацию, делать так, чтобы между полюсами, как в оригинале, проскакивала искра. Я взялся за эту работу только четверть века спустя и сейчас, зная, что мой перевод бессмертной книги будет далеко не первым, тем не менее отваживаюсь представить его читателям.

Леонид Мотылёв

Предисловие

Художник — творец прекрасного.

Искусство призвано явить себя и утаить художника.

Критик — тот, кто может передать иным способом или в новом материале свое впечатление от прекрасного.

Критика в высших и низших своих проявлениях есть разновидность автобиографии.

Тот, кто усматривает в прекрасном творении уродливый смысл, испорчен, не будучи очаровательным. Это не хорошо.

Тот, кто усматривает в прекрасном творении прекрасный смысл, человек утонченный. Он небезнадежен.

К избранным принадлежит тот, кто в прекрасном творении усматривает только Красоту.

Не существует нравственных и безнравственных книг. Есть книги хорошо написанные и написанные плохо. Только и всего.

Неприязнь девятнадцатого века к реализму есть ярость Калибана*, видящего себя в зеркале.

Неприязнь девятнадцатого века к романтизму есть ярость Калибана, не видящего себя в зеркале.

Нравственная жизнь человека — для художника одна из возможных тем, но нравственность искусства заключена

* Калибан — злобное и уродливое существо из пьесы Шекспира «Буря». (Здесь и далее — прим. переводчика.)

в совершенном использовании несовершенных средств. Художник не стремится ничего доказать. Доказать можно все, вплоть до истинного.

Художник лишен этических пристрастий. Этическое пристрастие у художника — непростительная стилистическая черта.

Художник лишен болезненности. Художник способен выразить что угодно.

Мысль и язык служат художнику инструментами творчества.

Порок и добродетель служат художнику материалом.

С точки зрения формы образец всякого искусства — игра музыканта. С точки зрения чувства образец — ремесло актера.

Всякое искусство есть одновременно поверхность и символ.

Тот, кто вскрывает поверхность, лучше бы остерегся.

Тот, кто прочитывает символ, лучше бы остерегся.

Искусство отражает на самом деле не жизнь, а смотрящего.

Разность мнений о произведении искусства показывает, что оно ново, сложно и полнокровно.

Когда критики спорят, художник пребывает в согласии с собой.

Сотворившего полезное можно простить, если он не восхищен своим творением. Сотворившего бесполезное может оправдать лишь его страстное восхищение своим творением.

Всякое искусство совершенно бесполезно.

Оскар Уайльд

Глава I

Мастерская художника наполнилась густым ароматом роз, а легкий ветерок, тревожа по временам садовые деревья и кусты, приносил сквозь открытую дверь то насыщенный дух сирени, то более нежный запах розовых цветков боярышника.

Полулежа в углу дивана, покрытого персидским ковром, и покуривая, по своему обыкновению, бесчисленные сигареты, лорд Генри Уоттон лишь краем глаза видел желтое пламя бобовника, чьи кисти, медовые цветом и ароматом, казалось, было едва под силу держать подрагивающим от огненной ноши ветвям; птицы, фантастическими тенями пролетая порой за огромным, затянутым длинными чесучовыми занавесками окном, на миг рождали у него ощущение чего-то японского, наводя на мысль о токийских живописцах с бледно-зеленоватыми нефритовыми лицами, стремящихся средствами искусства, по природе своей статичного, передать движение, быстроту. Сердитое гудение пчел, которые проталкивались сквозь высокую некошеную траву или упорно, монотонно вились вокруг пыльно-золотистых рожков раскидистой жимолости, придавало тишине гнетущий

оттенков. Лондон едва уловимо рокотал в нижнем регистре подобием дальнего органа.

Посреди комнаты на мольберте стоял, натянутый на подрамник, портрет в полный рост молодого человека дивной красоты, а перед портретом, на некотором расстоянии, сидел его автор, Бэзил Холлуорд, чье внезапное исчезновение несколько лет назад породило в то время изрядный переполох и дало пищу многим причудливым домыслам.

Довольная улыбка, возникшая на лице художника при взгляде на грациозную и миловидную фигуру, которую он столь искусно отразил в зеркале холста, казалось, не хотела уходить. Но внезапно он встал и, закрыв глаза, прижал к векам пальцы, словно желал удержать в мозгу некое необычайное видение, от которого боялся очнуться.

— Бэзил, это лучшая из твоих вещей, лучшее, что ты сделал, — томно произнес лорд Генри. — Ты непременно должен выставить портрет в следующем году в галерее Гроувнор. В Академии слишком просторно и слишком вульгарно. Как ни придешь, там либо столько людей, что не видно картин, и это ужасно, либо столько картин, что не видно людей, и это еще ужаснее. Нет, только Гроувнор.

— Вряд ли я его выставлю вообще, — отозвался художник, откинув голову странным движением, которое в студенческие годы в Оксфорде высмеивали его друзья. — Нет; нигде не буду выставять.

Лорд Генри приподнял брови и с изумлением посмотрел на него сквозь прозрачные клубы голубоватого дыма, который затейливо вился, поднимаясь от тяжелой, с примесью опиума, сигареты.

— Нигде не выставять? Почему, милый друг, почему? Какие могут быть причины? Ну и диковинный же вы,

художники, народ! Из кожи вон лезете, чтобы заработать себе репутацию. И, как только она у вас есть, норовите выбросить ее вон. И очень глупо: хуже, чем быть предметом разговоров, есть только одно — не быть предметом разговоров. Такой портрет поставит тебя намного выше всех молодых в Англии, а сердца стариков наполнит завистью, если старики способны на мало-мальски сильные чувства.

— Смейся надо мной сколько хочешь, — сказал художник, — но выставить портрет я никак не могу. Слишком много я вложил в него себя.

Лорд Генри, смеясь, потянулся на диване.

— Так я и знал, смейся, — промолвил его друг, — я сказал чистую правду.

— Слишком много себя! Честное слово, Бэзил, я не подозревал, что ты настолько тщеславен; и при всем желании не вижу ни малейшего сходства между тобой, с твоим лицом крепыша, сильного человека, с твоими черными как смоль волосами, — и этим юным Адонисом, сплошь слоновая кость и розовые лепестки. Он, мой милый Бэзил, некий Нарцисс, а в твоём лице — в нём, конечно, очень много ума, и все такое. Но где много ума, там красота, подлинная красота, заканчивается. Ум как таковой есть утрировка, он разрушает гармонию во всяком лице. Едва человек усаживается и начинает думать, как от лица остается один нос, или один лоб, или вовсе что-то жуткое. Погляди на тех, кто добился успеха в любой из ученых профессий. До чего безобразны их лица! За исключением, конечно, клириков. Но клирики ведь не думают. Восьмидесятилетний епископ говорит ровно то же, что ему втолковали в восемнадцать, и поэтому вид у него, естественно, совершенно восхитительный. Твой таинственный молодой друг, чьего имени я ни разу от тебя не слышал, но чей портрет меня поистине

очаровывает, не имеет привычки думать. Я вполне в этом уверен. Он — некое безмозглое красивое создание, которое стоило бы держать при себе и зимой, когда нет возможности полюбоваться цветами, и летом, когда хочется охладить чем-нибудь ум. Не обольщайся, Бэзил, ты нисколько на него не похож.

— Ты не понял меня, Гарри, — отозвался живописец. — Разумеется, я на него не похож. Я прекрасно это знаю. Меньше всего на свете я хотел бы на него походить. Пожимаешь плечами? Я правду говорю. Выдающимся качествам, физическим или умственным, всегда сопутствует некий рок, тот самый, что преследует королей, что идет сквозь историю по их неверным стопам. Нет, лучше не отличаться от окружающих. Уродливые и тупые — вот кто преуспевает в этом мире. Могут усесться с удобством и пилиться на спектакль. Пусть они и не познали побед — зато им неведомы поражения. Живут как нам всем стоило бы жить — бестревожно, равнодушно, в полном спокойствии. И на других не навлекают бед, и сами не терпят крах ни по чьей милости. Ты, Гарри, с твоей знатностью и богатством; я, с моими мозгами, какие ни есть, и с моим искусством, чего бы оно ни стоило; Дориан Грей с его красотой — мы все поплатимся за то, чем боги нас наделили, жестоко поплатимся.

— Дориан Грей? Так, значит, его зовут? — спросил лорд Генри, идя через мастерскую к Бэзилу Холлуорду.

— Да, это его имя. Не хотел тебе говорить.

— Но почему?

— О, не могу объяснить. Если я к кому-то невероятно расположен, я всегда скрываю его имя от остальных. Назвать — значит пожертвовать какой-то его частью. Я любил секретность. Она кажется мне единственным, что

может внести для нас в современную жизнь толику тайны и чуда. Самое заурядное делается восхитительным, если ты его прячешь. Когда я сейчас уезжаю из Лондона, то никому, даже домочадцам, не сообщаю, куда направляюсь. Иначе никакого удовольствия. Да, глупая привычка, но по-своему она бесконечно романтизирует жизнь. Наверно, ты сочтешь меня из-за нее полным идиотом.

— Вовсе нет, — возразил лорд Генри, — вовсе нет, мой милый Бэзил. Ты, видно, забыл, что я женат, а главная прелесть супружества заключается в том, что в нем ни той ни другой стороне никак не обойтись без скрытности и обмана. Я никогда не знаю, где моя жена, а моя жена никогда не ведает, чем я занят. При встрече — да, мы порой встречаемся, где-нибудь ужинаем вместе или посещаем герцога и герцогиню — с наисерьезнейшими лицами рассказываем друг другу нелепейшие байки. Моя жена в этом чрезвычайно искусна — мне, признаться, до нее далеко. Никогда, в отличие от меня, не путается в датах. И, если ловит меня на лжи, не поднимает никакого скандала. Мне иной раз хочется, чтобы подняла, — но она смеется надо мной, и только.

— Ты так говоришь о своем супружестве, Гарри, что слушать тошно, — сказал Бэзил Холлуорд, подойдя к двери в сад. — На самом-то деле, думаю, ты примерный муж, просто ты страшно стыдишься своих добродетелей. Ты необыкновенная личность. Послушать тебя, ты непорядочный человек, но ты ни разу не поступил непорядочно. Твой цинизм попросту наигран.

— Естественность — вот что наиграно, причем самым досадным для меня образом, — парировал, смеясь, лорд Генри; и молодые люди, выйдя в сад, уютно устроились на бамбуковой скамье в тени высокого лаврового куста.

Солнечный свет скользил по его гладкой листве. В траве подрагивали белые маргаритки.

Помолчав, лорд Генри достал из кармана часы.

— Боюсь, мне пора идти, Бэзил, — тихо промолвил он, — но напоследок все же настаиваю, чтобы ты ответил на вопрос, который я задал некоторое время назад.

— На какой вопрос? — спросил художник, не поднимая глаз от земли.

— Ты отлично знаешь на какой.

— Нет, Гарри, не знаю.

— Ну, тогда я его повторю. Хочу, чтобы ты объяснил, почему не желаешь выставлять портрет Дориана Грея. Хочу узнать подлинную причину.

— Я тебе ее назвал.

— Нет, не назвал. Ты сказал, она в том, что в портрете слишком много тебя. Послушай, это детская отговорка.

— Гарри, — сказал Бэзил Холлуорд, глядя ему в лицо, — любой портрет, написанный с чувством, есть портрет художника, а не модели. Модель — случайность, побочное обстоятельство. Не натура, а художник являет себя на раскрашенном холсте — именно он. Я не выставлю эту картину из страха, что выдал в ней секрет своей души.

— И что это за секрет? — со смехом спросил лорд Генри.

— Я тебе объясню, — сказал Холлуорд, но с каким-то смятением в лице.

— Я весь внимание, Бэзил, — промолвил его приятель, глядя на него.

— Да нет, Гарри, тут почти нечего объяснять, — сказал художник, — и, боюсь, ты толком не поймешь. Может быть, не очень-то и поверишь.

Лорд Генри улыбнулся и, наклонившись, протянул руку в траву, сорвал розоватую маргаритку и стал ее разглядывать.

— Нисколько не сомневаюсь, что пойму тебя, — отозвался он, всматриваясь в золотистый кружок со светлым оперением, — а поверить я могу во все что угодно — во все, кроме правдоподобного.

От ветра с деревьев слетело несколько цветков, и тяжелые гроздья звезд на ветках сирени качнулись туда и обратно в томном воздухе. Под стеной затрещал кузнечик, длинная тонкая стрекоза прoderнулась голубой нитью на коричневатых кисейных крылышках. Лорду Генри почувствовалось, что он слышит бьющееся сердце Бэзила Холлурда, и он с любопытством ждал его рассказа.

— История, попросту говоря, вот такая, — начал художник, помолчав. — Два месяца назад я был на рауте у леди Брэндон. Нам, бедным художникам, приходится, как ты знаешь, порой показываться в обществе — просто чтобы публика не считала нас дикарями. Как ты мне однажды сказал, во фраке и белом галстуке даже биржевой маклер может сойти за цивилизованного человека. Так вот, пробыл я в комнате минут десять, беседуя с необъятными разряженными вдовствующими дамами и скучными профессорами, как вдруг возникло ощущение, что кто-то на меня смотрит. Я полуобернулся — и впервые увидел Дориана Грея. Когда наши взгляды встретились, я почувствовал, что бледнею. На меня напал диковинный ужас. Я понял, что оказался лицом к лицу с человеком, чья личность сама по себе источает такие чары, что, если я не воспротивлюсь, она поглотит все мое существо, всю мою душу, мое искусство даже. Я не хотел никакого воздействия извне на свою жизнь. Ты знаешь, Гарри, до чего я независим по натуре. Я сам себе господин — был по крайней мере, пока не встретил Дориана Грея. И в ту минуту... не знаю, как тебе объяснить. Что-то подсказывало мне, что

со мной вот-вот случится непоправимое. Было странное чувство, что судьбой мне уготованы неслыханные радости и неслыханные печали. Мне стало страшно, я повернулся, чтобы уйти. Не совесть меня гнала, не нравственное побуждение, а трусость своего рода. Не ставлю себе в заслугу эту попытку спастись.

— Совесть и трусость на самом деле одно и то же, Бэзил. Совесть — торговое название фирмы, вот и все.

— Не думаю так, Гарри, да и ты, я уверен, не думаешь. Так или иначе, что бы мной ни двигало — может быть, это гордость была, ведь до последнего времени я был очень горд, — я стал проталкиваться к выходу. И, конечно, наткнулся на леди Брэндон. Она кричит: «Постойте, мистер Холлуорд, не убегайте так рано!» Ну, ты знаешь, какой пронзительный у нее голос.

— Да; она во всем похожа на павлина, кроме красоты, — сказал лорд Генри, раздвигая маргаритку на части длинными нервными пальцами.

— Не было возможности от нее избавиться. Она повела меня к особам королевской крови, к кавалерам звезд и орденов, к престарелым дамам в гигантских тиарах и с попугайскими носами. «Мой самый дорогой друг» — так она меня им аттестовала. Мы виделись до того всего один раз, но она твердо вознамерилась сделать из меня светского льва. Кажется, какая-то моя картина имела тогда огромный успех — по крайней мере, удостоилась болтовни в дешевых газетенках, что в девятнадцатом веке сходит за бессмертие. И вдруг я оказываюсь лицом к лицу с молодым человеком, чья личность так странно на меня подействовала. Мы стояли очень близко друг к другу, едва не соприкасались. Наши взгляды вновь встретились. Безрассудство с моей стороны — но я попросил леди Брэндон

представить меня ему. Хотя, возможно, не такое уж безрассудство. Просто неизбежность. Мы заговорили бы друг с другом и без всякого представления. Я в этом убежден. Дориан потом мне это подтвердил. Он тоже почувствовал, что нам суждено познакомиться.

— И как леди Брэндон описала тебе этого замечательного молодого человека? — спросил его друг. — Я знаю, что она любит давать всем гостям краткие характеристики. Помню, однажды она повела меня к краснолицему, свирепого вида старому джентльмену, с головы до ног в орденах и лентах, и по пути трагическим театральным шепотом, отлично, должно быть, слышным в комнате всем и каждому, принялась сообщать мне о нем на ухо ошеломительные подробности. Я попросту сбежал. Предпочитаю распознавать людей без чьей-либо помощи. Но леди Брэндон обращается со своими гостями ровно так же, как аукционист обращается с товарами, которые он выставил на продажу. Она либо всему, что в них есть подозрительного, найдет благовидное объяснение, либо расскажет тебе про них все, кроме того, что тебе хочется знать.

— Бедная леди Брэндон! Ты суров с ней, Гарри! — заметил Холлуорд равнодушным тоном.

— Дорогой мой, она попыталась затеять салон, а получился всего-навсего ресторан. Как я могу ею восхищаться? Но скажи мне, как она охарактеризовала мистера Дориана Грея?

— О, примерно так: «Очаровательный юноша... мы с его несчастной милой матушкой были совершенно неразлучны... вылетело из головы, чем он занимается... боюсь, он... ничем не занимается... ах, да, играет на фортепиано... или на скрипке, дорогой мистер Грей?» Мы оба не могли удержаться от смеха и мгновенно подружились.

— Смех — неплохое начало для дружбы и намного лучшее ее окончание, чем что-либо другое, — сказал молодой лорд, срывая еще одну маргаритку.

Холлуорд покачал головой.

— Тебе невдомек, Гарри, что такое дружба, — произнес он вполголоса, — и что такое вражда, если на то пошло. Ты ко всем хорошо относишься — иными словами, ты ко всем безразличен.

— Какая жуткая несправедливость с твоей стороны! — воскликнул лорд Генри; сдвинув шляпу на затылок, он посмотрел на маленькие облачка, которые, плывя по бирюзовому своду летнего неба, походили на спутанные мотки блестящего белого шелка. — Да, жуткая несправедливость. Я провожу между людьми очень основательные различия. Друзей выбираю за красивую внешность, знакомых — за добрый характер, врагов — за острый ум. Врагов надо выбирать с особым тщанием. Среди моих нет ни одного дурака. Будучи людьми неглупыми, все они ставят меня высоко. Я тщеславен, да? Думаю, я довольно-таки тщеславен.

— Выходит, так, Гарри. Но по твоей классификации я, видимо, просто знакомый.

— Мой милый старина Бэзил, ты куда больше, чем знакомый.

— И намного меньше, чем друг. Брат, получается, — или что-то подобное?

— Ох уж эти братья! Не питаю к ним нежных чувств. Мой старший брат все никак не умрет, а младшие, кажется, только этим и заняты*.

* Обыгрывается майорат — наследование недвижимости по принципу старшинства.

— Гарри! — воскликнул Холлуорд, нахмутив брови.

— Дорогой мой, я не совсем уж всерьез. Но что делать — родичей своих я не выношу. Причина, полагаю, в том, что всем нам нестерпимо видеть наши недостатки в других людях. Я вполне разделяю негодование английских демократических кругов на то, что они называют пороками высших слоев общества. Массы чувствуют, что пьянство, тупость и безнравственность должны принадлежать им безраздельно и что если кто-либо из нас опозорился, то он браконьерствует в их владениях. Когда бедный Сазерк предстал перед судом по делу о разводе, их гнев был беспределен. Но я не думаю, что даже десять процентов пролетариата живет правильной жизнью.

— Я ни с единым словом из этого не согласен, и скажу больше, Гарри: я уверен, что и ты не согласен.

Лорд Генри погладил свою остроконечную каштановую бородку и тростью черного дерева с кисточкой легонько стукнул по носку ботинка из лакированной кожи.

— Бэзил, ты англичанин до мозга костей! Второй раз уже высказался в таком духе. Если с истым англичанином поделиться какой-нибудь идеей — поступок всегда довольно опрометчивый, — он ни за что не примется соображать, верна эта идея или нет. Единственное, чему он придаст хоть какую-то важность, — веришь ли ты сам в эту идею. Но послушай, ценность идеи несколько не зависит от искренности того, кто эту идею выражает. Более того, весьма вероятно, что чем неискренней ее выразитель, тем меньше в этой идее примешано лишнего к чистому продукту ума: она в этом случае не окрашена ничьими желаниями, чаяниями, предрассудками. Впрочем, меня не тянет говорить с тобой на политические, социологические или метафизические темы. Персоны мне симпатичней,

нежели принципы, а всего на свете мне симпатичней персоны беспринципные. Расскажи мне еще про Дориана Грея. Часто вы видите?

— Каждый день. Я не был бы доволен жизнью, если бы мы не виделись каждый день. Он мне совершенно необходим.

— До чего необычно! Я не думал, что для тебя может быть важно что-либо, кроме твоего искусства.

— Он и есть сейчас все мое искусство, — сумрачно проговорил художник. — Иногда, Гарри, мне приходит мысль, что в мировой истории лишь два рода событий могут знаменовать начало новой эры. Во-первых — появление нового материала для искусства; во-вторых — появление новой личности для него. Чем для венецианцев было изобретение масляной живописи, тем для поздних греческих скульпторов было лицо Антиноя и тем станет однажды для меня лицо Дориана Грея. Я ведь не только пишу его, рисую, делаю с него наброски. Разумеется, все это было и есть. Но он для меня гораздо больше, чем модель, чем натура. Не стану лгать, будто недоволен тем, что у меня вышло, или будто его красота превосходит выразительные возможности искусства. Искусство способно выразить все, и я знаю, что вещи, которые я сделал после знакомства с Дорианом Греем, — вещи достойные, это лучшее, что я создал в жизни. Но неким причудливым образом — не знаю, поймешь ты или нет, — его личность навела меня на совершенно новую манеру в искусстве, подсказала совершенно новый стилистический путь. Я теперь вижу иначе, думаю об увиденном иначе. Могу воссоздавать жизнь так, как мне не было дано прежде. «В расудочные дни мечта о теле» — не помню, откуда эти слова; но именно этим одарил меня Дориан Грей. Одно лишь

зримое, телесное присутствие этого мальчика — да, он для меня мальчик, хотя ему уже двадцать, — одно лишь его зримое присутствие... ах! Не знаю, внятно ли тебе все, что это означает. Сам не сознавая того, он определяет для меня очертания небывалой живописной школы — школы, которой будут присущи вся страстность романтического духа и все совершенство духа греческого. Гармония души и тела — как много в этом заключено! Мы в безумии нашем отделили одно от другого и придумали реализм, который вульгарен, и идеализм, который пуст. Гарри! Если бы ты только знал, что для меня значит Дориан Грей! Помнишь мой пейзаж, за который Агнью предлагал бешеные деньги, но с которым я не захотел расстаться? Это из лучшего, что я сделал. И почему? Потому что рядом со мной, пока я его писал, сидел Дориан Грей. Он оказывал на меня какое-то неуловимое воздействие, и впервые в жизни я увидел в обычной лесистой местности чудо, за которым вечно охотился и которое вечно ускользало.

— Бэзил, это просто необыкновенно! Я должен увидеть Дориана Грея.

Холлуорд встал и принялся ходить взад-вперед по саду. Немного погода вернулся к скамье.

— Гарри, — сказал он, — Дориан Грей для меня всего лишь мотив в искусстве. Ты, может быть, ничего в нем и не увидишь. А я вижу в нем все. Он явственней всего присутствует в тех моих вещах, где сам не изображен. Он, как я сказал, живая весть о новой манере. Я вижу его в изгибах некоторых линий, в нежности и изысканности иных оттенков цвета. Вот и все.

— Так почему же ты не хочешь выставить его портрет? — спросил лорд Генри.

— Потому что невольно я отчасти выразил в нем это свое странное художническое идолопоклонство, о котором, конечно, ни разу не обмолвился Дориану. Он ничего не знает. И не узнает. Но публика может догадаться; я не намерен обнажать свою душу перед их поверхностными любопытными взглядами. Не подставлю сердце под их микроскоп. Слишком много меня, Гарри, на этом холсте — слишком много меня!

— Поэты не так щепетильны, как ты. Они знают, как полезна страсть для тиражей. В наши дни разбитое сердце выдерживает много изданий.

— Ненавижу их за это! — воскликнул Холлуорд. — Художнику надлежит творить прекрасные вещи, но он не должен вкладывать в них ничего из собственной жизни. Мы живем в эпоху, когда в искусстве видят род автобиографии. Мы утратили отвлеченное чувство красоты. Когда-нибудь я явлю это чувство миру; и по этой причине публика не должна видеть мой портрет Дориана Грея.

— Я не согласен с тобой, Бэзил, но не буду спорить. Спорят только умственно безнадежные люди. Скажи мне, Дориан Грей к тебе очень расположен?

Художник ненадолго задумался.

— Он хорошо ко мне относится, — ответил он, помолчав. — Да, хорошо. Разумеется, я лщу ему безбожно. Мне странное удовольствие доставляет говорить ему то, о чем я заведомо буду сожалеть. Как правило, он со мной мил, мы сидим в мастерской и беседуем на тысячи разных тем. Но порой он ужасающе бестактен — кажется, может подлинное удовольствие получать, делая мне больно. Тогда, Гарри, у меня возникает чувство, что я всю душу отдал человеку, для которого она только лишь цветок в петлице,

украшение, чтобы потешить свое тщеславие, аксессуар для летнего дня.

— Летние дни, Бэзил, тянутся долго, — негромко заметил лорд Генри. — Может быть, тебе наскучит раньше, чем ему. Печально об этом думать, но Гений, без сомнения, более долговечен, чем Красота. Этим объясняется тот факт, что мы стремимся образовывать себя превыше всякой меры. В бешеной борьбе за существование мы хотим владеть чем-то не столь эфемерным — и потому набиваем голову мусором, пустыми сведениями в глупой надежде соответствовать своему положению. Идеал нашего времени — человек информированный. Ум хорошо информированного человека — жуткая вещь. Он как лавка безделушек: сплошь уродцы да пыль и за все запрашивают больше, чем оно стоит. Так или иначе, тебе, думаю, наскучит первому. Однажды ты посмотришь на своего друга, и тебе покажется, что контур немного не тот, оттенок нехорош или еще что-нибудь. Ты горько упрекнешь его в душе и всерьез подумаешь, что он обращался с тобой очень скверно. Когда он явится в следующий раз, будешь к нему в высшей степени холоден и безразличен. Ты переменишься, что крайне прискорбно. То, о чем ты мне поведал, — подлинный роман, можно сказать — роман в искусстве, а в любом романе самое худшее то, что состояние человека, когда он окончен, столь неромантично.

— Гарри, не говори так. Личность Дориана Грея будет властвовать надо мной, пока я жив. Ты не можешь почувствовать то, что чувствую я. Ты слишком непостоянен.

— Ах, милый мой Бэзил, потому-то я и могу это почувствовать. Те, кто верен в любви, знают лишь банальную ее сторону; неверным — вот кому ведомы ее трагедии.

И лорд Генри, чиркнув спичкой об элегантную серебряную спичечницу, закурил сигарету с нарочито удовлетворенным видом, словно ему удалось одной фразой охарактеризовать все мироздание. В лакированной зелени плюща шуршали и чирикали воробьи, голубоватые тени облаков пролетали по траве, как ласточки. Как приятно было в саду! И до чего восхитительны чувства других людей — куда восхитительней, казалось ему, чем их идеи. Своя собственная душа и страсти друзей — вот чем очаровывает жизнь. Молча забавляясь, он вообразил себе скучное застолье у тети, которое он пропускает, потому что задержался у Бэзила Холлуорда. Там он наверняка увидел бы лорда Гудбоди, и весь разговор вращался бы вокруг столовых для бедных и необходимости в хороших образцах для ночлежных домов. Каждый класс готов превозносить значение добродетелей, для него самого не обязательных. Богач будет говорить о том, как важна бережливость, белоручка — распространяться о благородстве труда. Какая прелесть — всего этого избежать! При мысли о тете ему кое-что пришло в голову. Он повернулся к Холлуорду.

— Милый друг, я вспомнил.

— Что, Гарри?

— Вспомнил, где услышал имя Дориан Грей.

— И где? — спросил Холлуорд, слегка нахмурясь.

— Не смотри так сердито, Бэзил. У моей тети, леди Агаты. Она сказала мне, что обнаружила замечательного молодого человека, который намерен помогать ей в благотворительных делах в Ист-Энде, и что зовут его Дориан Грей. О его красивой внешности, должен тебе сказать, она не упомянула. Женщины вообще не ценят в людях красоту — по крайней мере, хорошие женщины. Она сказала, что он очень серьезный, что у него чудесный характер.

Я тут же нарисовал себе существо в очках, с прилизанными жидкими волосами, жутко веснушчатое и громко топаящее гигантскими ступнями. Жаль, я не знал, что это твой друг.

— Я очень рад, Гарри, что ты не знал.

— Почему?

— Я не хочу вашего знакомства.

— Не хочешь нашего знакомства?

— Нет.

— Мистер Дориан Грей в мастерской, сэр, — объявил дворецкий, выйдя в сад.

— Ты должен немедленно меня ему представить! — воскликнул лорд Генри со смехом.

Художник повернулся к слуге, который стоял, мигая от яркого солнца.

— Попросите мистера Грея подождать, Паркер; я приду через пару минут.

Дворецкий кивнул и двинулся назад по дорожке. Холлуорд перевел взгляд на лорда Генри.

— Дориан Грей — мой самый драгоценный друг, — сказал он. — У него простой, чудесный характер. Твоя тетя в нем не ошиблась. Не испортишь его мне. Не пытайся на него повлиять. Твое влияние причинит ему вред. Мир велик, в нем много удивительных людей. Не отнимай у меня единственного, кому моя живопись обязана всем очарованием, какое в ней есть; от него зависит вся моя жизнь как художника. Помни, Гарри: я полагаюсь на тебя.

Он говорил очень медленно — казалось, выдавливал из себя слова против собственной воли.

— Какую ерунду ты мелешь! — сказал, смеясь, лорд Генри и, взяв Холлуорда за локоть, чуть ли не силой повел его в дом.

Глава II

Войдя, они увидели Дориана Грея. Он сидел за фортепиано спиной к ним и листал ноты «Лесных сцен» Шумана.

— Ты обязан мне их дать, Бэзил! — воскликнул он. — Я хочу выучить эти пьесы. Они совершенно очаровательны.

— Все зависит от того, как ты будешь сегодня позировать, Дориан.

— Ох, устал я от этого позирования, и зачем он мне вообще, портрет в натуральную величину, — своевольным, капризным тоном отозвался юноша, поворачиваясь на крутящейся табуретке. При виде лорда Генри его щеки мгновенно порозовели, и он вскочил на ноги. — Прошу прощения, Бэзил, я не знал, что ты не один.

— Дориан, это лорд Генри Уоттон, мой старинный друг по Оксфорду. Я только что рассказывал ему, как славно ты позировешь, а ты все испортил.

— Вы не испортили мне удовольствие от знакомства с вами, мистер Грей, — сказал лорд Генри, идя вперед и протягивая руку. — Тетя мне не раз о вас говорила. Вы один из ее любимцев и, боюсь, одна из ее жертв.

— В настоящий момент я у леди Агаты в немилости, — отозвался Дориан с забавным видом кающегося грешника. — Пообещал поехать с ней во вторник в клуб в Уайтчепеле — и начисто забыл. Мы должны были играть для бедных в четыре руки — три пьесы, кажется. Не знаю, что она мне теперь скажет, боюсь у нее появляться.

— О, я вас помирю с моей тетей. Она в вас души не чает. И не думаю, что ваше отсутствие на чем-нибудь серьезно сказалось. Публика, вероятно, все равно думала, что слушает дуэт. Когда тетя Агата садится за инструмент, он грохочет так, будто играют двое.

— Ужас как немилосердно по отношению к ней и не очень-то лестно для меня, — смеясь, заметил Дориан.

Лорд Генри смотрел на него. Да, он, без сомнения, был необычайно красив: элегантно изогнутые алые губы, бесхитростные голубые глаза, выющиеся золотистые волосы. Его лицо мгновенно внушало к нему доверие. Вся искренность юности была в этом лице, вся ее страстная чистота. Чувствовалось, что он сохранил себя в этом мире незапятнанным. Неудивительно, что Бэзил Холлуорд вознес его на пьедестал.

— Вы слишком очаровательны для благотворительности, мистер Грей, — слишком, слишком.

С этими словами лорд Генри расслабленно опустился на диван и открыл свой портсигар.

Художник уже был занят смешиванием красок и подготовкой кистей. Вид у него был озабоченный, и, услышав последнее замечание лорда Генри, Холлуорд посмотрел на него и, поколебавшись, сказал:

— Гарри, я хочу закончить этот портрет сегодня. Ты сочтешь страшной невежливостью с моей стороны, если я попрошу тебя уйти?

Лорд Генри улыбнулся и посмотрел на Дориана Грея.

— Мне уйти, мистер Грей? — спросил он.

— О нет, прошу вас, не надо, лорд Генри. Я вижу, Бэзил сегодня не в духе, с ним это бывает; я его не выношу, когда он не в духе. И сверх того, я хочу, чтобы вы мне объяснили, почему мне не надо заниматься благотворительностью.

— Не знаю, стоит ли мне объяснять вам это, мистер Грей. Это такая скучная материя, что пришлось бы рассуждать о ней серьезно. Но, раз вы просите меня остаться, я, конечно, не убегу. Ты ведь не будешь против, да, Бэзил? Ты не раз мне говорил, что любишь, когда твоей модели есть с кем поболтать.

Холлуорд закусил губу.

— Если Дориан хочет — само собой, оставайся. Любая прихоть Дориана — закон для всех, кроме него самого.

Лорд Генри взял свою шляпу и перчатки.

— Ты очень настойчив, Бэзил, но, боюсь, мне все же надо идти. Я обещал встретиться с одним человеком в «Орлеане». До свидания, мистер Грей. Непременно посетите меня на Керзон-стрит в какой-нибудь из дней. В пять часов я почти всегда дома. Напишите мне, когда соберетесь. Жаль будет вас упустить.

— Бэзил! — воскликнул Дориан Грей. — Если лорд Генри Уоттон уйдет — я тоже уйду. Ты, пока пишешь, никогда рта не раскроешь, и это жуткая тоска — стоять тут на помосте и делать приятный вид. Попроси его остаться. Я требую.

— Останься, Гарри, ради Дориана и ради меня, — сказал Холлуорд, пристально глядя на холст. — Что верно, то верно: за работой я глух и нем и нагоняю этим на мои несчастные модели ужасающую скуку. Очень тебя прошу — останься.